

# Казнь Махамбета -15/ конец романа

Category: Kitarcy, Romanlar

написано kitarcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -15/ конец романа ЭПИЛОГ... КАЗНЬ МАХАМБЕТА

*Нет для меня больше песен.  
Слов больше – нет.  
Я не батыр нынче славный,  
И не поэт.  
Верю в веру ведомый,  
Я выбрал ответ:  
«Ла» – отвечал по-арабски  
Судьбе. То есть – «нет!».  
Корни степные отринув,  
В пустыни песках  
Корни пустить я пытался.  
Не ведом был страх.  
Только пески те – чужие.  
В чужих же местах  
Не расцветают степные  
Цветы. Только страх  
Перед Творцом Мирозданья  
Буйно цветет.  
«Кул» – значит «раб». И не тайна –  
Каждый поймет  
Рано иль поздно, что только  
Вольная степь  
Дарит кочевнику волю.  
Мой же ответ  
Принят чужими богами – против своих.  
Предано предначертанье. Предан мой стих.  
Кто же предатель? Изменник  
Подлый тот – кто?  
Вижу его в отраженьи.*

Больше никто  
Так не сумел бы растратить  
Дар от Судьбы.  
Трапезой Тенгри рожденный –  
Ныне костью  
Что обглодали не боги,  
Псы – хочешь лечь.  
Смерть прекратит ли страданье?  
Иль не сумеет  
Просто уйти ли, остаться,  
Стойко терпеть  
Жизнь – словно срок покаянья.  
Но – не хочу.  
Вынесу сам приговор я,  
И промолчу,  
Слова не молвлю я в защиту.  
Знаю вину.  
Меж приговором и казнью  
Не затяну.  
Небо, ускорь мне за это  
Казнь мертвеца Махамбета!

+ + +

Хасен кричит:

– Беги, брат, беги!

А мне и бежать уже не вмоготу. Некуда. Да и незачем. Типан смотрит с немым укором во взгляде, и я нехотя встаю, иду в сторону коновязи. Знаю, что поздно, знаю – не успею, но иду. Пусть не думают, что я сдался. А я – сдался? Что в самом деле сейчас лучше для того, чье имя и так склоняют на все лады по всей Бокеевской Орде – остаться, и погибнуть, или бежать, как я уже это сделал однажды?..

+ + +

– Махамбет бежал! Оставил побратима своего умирать, и бежал! Герой наш, батыр из батыров, защита и опора рода берш... да что

там, берш, всей Орды Бокеевской защита – поддался уговорам смутьяна Махамбета, восстал супротив султана своего, но все равно чтим мы его память, отважный был человек, до конца бился, не то, что этот трус!.. – Карауылкожа не говорил – соловьем заливался. Ну, это ежели принять, что у соловья усы и борода могут быть запачканы курдючным жиром, а при пении он еще и слюной брызжет на собеседников. И пахнет – русской водкой.

Караулкожа Бабажанов был пьян. Водку привез с собой в большой белой бутылки, и лично, словно слуга, наливал из нее новому начальнику гурьевского гарнизона, которого взялся сопровождать из Уральска до места службы, и с которым останавливался на беспармак чуть ли не в каждом ауле, что попадался на пути в Гурьев. Аулов попадалось нынче множество – после поражения и гибели Исатая восстание заглохло, будто и не было его, и только дальние отголоски войны Кенесары Касимова доносились до утихомирившейся Бокеевской Орды, вновь погружившейся в болото послушания своим имперским хозяевам. А перед хозяином нынче любой степняк – слуге подобен, даром что самому Жангир-Керей хану приходится родичем и другом. Такой слуга, правда, хозяину прислужит, но и себя не обидит – вот и получалось, что наливал Бабажанов вроде бы русскому начальнику, но сам пьянел ничуть не меньше. И выглядел в глазах собственных соплеменников нынче таким же чужим, как краснощекий, с распаренным широким лицом, «орыс-бастык», с той лишь разницей, что говорил на родном языке, причем вещи, которые все еще были не то, что интересны, но брали за живое, заставляли вспоминать недавнее поражение... близкую боль.

Многие знали о том, как все было на самом деле. Потому что многие в степях Ак Жайыка были из тех, что выжил в том походе благодаря решению и жертве Исатая, но чьи сыновья остались лежать в схватке с казаками да черкесской сотней. И многие знают, что Махамбет не бежал – спасал, выносил из пламени поражения сына Исатаева, но одно дело – знать правду, помнить о ней, и другое – каждый день слышать от важных, облеченных

властью людей эту же правду, да по-другому! Будто на верного пса-тобета натянули злые люди из злой своей потехи волчью шкуру, и теперь уже другие, совсем вроде бы не злые люди, на преданного друга косятся с подозрением, того и гляди – за колья возьмутся, смертным боем бить начнут.

И все же... люди еще любили Махамбета. Считали его жертвой, жалели, укрывали места его стоянок... Не все, были и те, что за мзду ли, или взрастив в себе ненависть за умерших в битвах родичей и членов семей, указывали – вот, был, останавливался в том-то кочевье, ночевал в юрте у того-то... Но таких было меньше, гораздо меньше тех, что наизусть читали стихи мятежного акына, закрыв глаза, слушали полные боли песни, в бессильной теперь жажде свободы сжимая кулаки, будто пытаюсь схватиться за рукоять несуществующего меча. Мечи-ханжары нынче были запрещены для степняков, как раньше были под запретом ружья – после поражения повстанцев отряды Жангир-хана прошлись частым гребнем по всем кочевьям, забирая все оружие, что могло найтись, даже охотничьи луки, и те не дозволялось нынче иметь кочевому народу.

Безоружный, словно волк с вырванными клыками, степняк в Бокеевской Орде медленно, но верно превращался в пса, беззубого, способного если не спасти хозяйское добро, но хотя бы лаем своим оповестить о приходе чужака на подворье. И только глаза – злые по-волчьи, еще выдавали вольный дух, тлеющий на самом дне порабощенной души. Такие глаза сейчас смотрели на Карауылкожу Бабажанова, в каждом ауле смотрели, за каждым дастарханом, и сейчас – из каждого угла юрты, с каждого лица, от лебезящего перед бастыками-начальниками хозяина дома, и до последнего ребенка-балапана цыплячьего возраста, взглядом этим, однако, напоминающего не куренка, но птенца беркута. Бабажанов боялся этих глаз, и от того налегал на водку еще сильнее, пьянел без меры, теряя мысль свою, и даже самого себя:

– Так я о чем говорю, уважаемые? Я говорю – трус ваш Махамбет... и каждый, кто к нему примкнул – трус. Только Исатай – не трус.

Потому что – умер. Вот умер бы Махамбет вместе с ним, тоже был бы герой... Как Исатай! А хану нашему – долгой жизни, здоровья, и царю-императору – долгой жизни... И тот, кто не трус – пусть умрет! Иииыы...

Подурнело родичу ханскому, лицом посинел, и русский начальник посмотрел на него, да как хлопнет по широкой жирной спине – выпачканной жиром ладонью! Пятно формой с начальственную пятерню отпечаталось на дорогой ткани байского шапана, байское же горло исторгло прямо на дастархан кусок плохо проваренного курдюка, которым чуть было не подавился Бабажанов. Вскочил Карауылкожа от внезапного стыда за позор свой, бросился прочь из юрты, только войлочный полог за ним хлопнул, будто зло отгоняя...

+ + +

Хлопнул войлочный полог за последним гостем непрошенным, а жена моя, Типан, уже на дастархан медный чайник-куман ставит, кумыс в пиалки наливает. Переглядываются между собой гости, старший плечами пожимает – мол, делать нечего, придется за дастархан садиться. Умница Типан, все правильно делает, да только не отвести ее нежной руке занесенный над моей головой меч в руках ангела смерти, Азраил женской слезы не боится, и женские уловки ему не помеха. Но все же дастархан это время выигрывает, теперь гости непрошеные не могут просто меня забрать, говорить должны, объясниться. Вот, начинают уже, опять, старший из них, кивает на меня:

– Я старшина, Ыкылас, сын Толе, по званию – зауряд-хорунжий, это жигиты мои, Жусуп, сын Утегали, и батыр наш, Муса, сын Нуралы. По приказу султана мы, Баймагамбета Айшуакулы, пришли с тебя, сын Утемиса, за обиду спросить.

Вмешался Хасен:

– Какую обиду брат мой причинил Айшуакову? Чего такого может хотеть султан от рода Утемиса, чтобы аж целый отряд людей с оружием за нами посылать, да еще в такое время, когда казаху

по степи с оружием ходить ханским указом запрещено?

– Оружие мы носим с дозволения нашего султана, а у него, значит, фарман от самого хана Жангир-Керея имеется..., – спокойно отвечает Ыкылас, но Хасен прерывает его:

– Покажи фарман, раз он есть!

Не смутился зауряд-хорунжий, кивнул только:

– Покажу. Вот, поедем в ставку к султану, там и покажу. Султан Баймагамбет сам покажет, если хочешь...

– А почему это брат мой идти туда должен? В чем султан его обвиняет? – не успокаивается Хасен.

– Четырех коней увели у Мурада, что из рода адай. Люди говорят, Махамбет это сделал. Вот, султан и прислал нас, чтобы мы его привели на суд, пусть ответит перед Баймагамбетом-би, пусть оправдается, если сможет...

Тут вмешался Битимбай, сын Шокая, один из немногих, кто выжил в нашей последней битве... в последней битве Старшего моего, Исатая, верный его жигит, навестивший меня, чтобы доставить новости о судьбе спасенного мальчика, сына нашего вождя. Волком смотрит Битимбай на людей султановых, и хоть меч у него отняли, однако даже с голыми руками опасен он в честном бою. И слова говорит честные:

– Это как же так – оправдаться? Разве уже известно, что именно Махамбет тех лошадей увел? Да и к чему ему это? Пускай султан сначала докажет, что Махамбет виновен, и уж после того зовет на свой суд...

– Султану нашему, верному слуге государя Российского, вам, смутьянам, доказывать нечего! – вдруг рявкнул один из «гостей», Муса, тот, что помладше годами, но телом крепче, и на поясе ту него висит не короткий ханжар, но большая сабля, явно русской работы, из тех, что в бой надевают офицеры русской кавалерии. Интересно, с кого такую снял? Или – купил? Хотя, судя по тому, как разговаривает, мог действительно – убить и снять, такие редко за что платят, предпочитая забирать все силой. – Мы, когда к вашей юрте подъезжали, видели, как этот ваш Махамбет из ружья в нас целился! Из ружья!..

И правда ведь – целился. Не потому, что хотел убить, просто на какой-то миг вдруг показалось – снова битва, и я в бою, и этот враг скачет ко мне не разговоры разговаривать – убивать меня скачет, а значит или он меня, или я его сейчас... Окрик Хасена меня остановил, вернул с последнего моего поля битвы, где я так и не взял в руки ружья, сюда, где нет войны, но есть ружье в моих руках, не сумевших защитить моего Старшего... моего Исатая!

– Вы все – люди Исатая, смутьяна и бунтовщика! И оружие у вас незаконное! А тот, кто в одном закон нарушил, и во всех прочих преступлениях наверняка виноват! Так что не султану вину Махамбета доказывать, а вовсе наоборот..., – кричит батыр Муса, сын Нуралы, а рука его так и тянется к поясу, за саблей тянется...

+ + +

Перовский потянулся к сабле, висевшей на ковре, вытащил из ножен, залюбовался на тускло сверкнувшую в скупом свете петербургского солнца сталь клинка.

– Эх, душа моя, Владимир Владимирович, разве ж мог я знать, какая тоска этот ваш Петербург? – томно протянул генерал от кавалерии, и вдруг, совершенно внезапно, сделал выпад с рубящим ударом, от чего влажный столичный воздух, рассеченный южным клинком, будто жалобно всхлипнул.

– Лукавите, Василий Алексеевич, ой, лукавите, свет мой! – граф Сурков, в шелковом китайском халате принимавшей давнего знаконца и товарища в холостяцком своем будуаре, отвечал голосом таким же жеманным.

Такой манерности, чуть ли не дамской нежности, верно, никто иной во всей Империи от этих двух вояк, почитавшихся символами мужества что при дворе, что в солдатских биваках, никогда не слышал. Выбор же холостяцкой жизни, несмотря на наивыгоднейшие партии, доступные для марьяжа что одному, что другому, высший свет списывал на убежденное женоненавистничество и

укоренившееся солдафонство. И даже отсутствие романтических скандалов с «опасными связями» оправдывали – мол, преданы сии слуги Марса лишь войне и державе. И чего бы не оправдать, когда злословить – может стать себе дороже, ибо за сальные и грешные разговоры оба господина могли не только на дуэли наказать, но и без каких-либо церемоний запросто жизни лишить всякого любителя позубоскалить на содомитские темы.

– Решительно никаких достойных развлечений, друг мой! Скучно мне здесь! – настаивал на своем Перовский, не прекращая упражняться в рассечении густого воздуха комнаты. – Кровь застаивается, того и гляди, скоро плесенью покроюсь, как все мои лучшие боевые мундиры, что в шкафу висят...

– В Петербурге, душа моя, лучшие туалеты плесенью покрываются – сырость-с, ничего-с не поделаешь! – протянул Сурков, недовольно морщась, и вспоминая, как на днях обнаружил новенький свой фрак, выписанный из Лондона, побитым плесенью от вечной столичной сырости. – И чего тебе жаловаться, когда ты уже год как в Государственном Совете, и всяк тебе Андрея Первозданного пророчит ежели не на следующий год, так уж через два – вернейше! Или тебя государственная карьера более не развлекает?

– Не развлекает! – в последний раз рубанул воздух Перовский, и с громким лязгом вогнал клинок в снятые с ковра ножны. – Нет, душа моя, ты не подумай, что твой старый друг вдруг сделался неблагодарным – все эти политические альянсы и комбинасьон были весьма изобретательны, и даже какое-то время вправду впечатляли меня, напоминая военные кампании, но нынче нахожу их, уж прости, излишне пресными.

– А ведь я с тобой, друг мой, согласен! – Граф Сурков встал с тахты, уронив было подушку, но в последний миг подхватил ее носком мягкой домашней туфли, сшитой из шелка на кокандский манер, подкинул обратно на тахту, и потянулся так, что китайский халат чуть было не пошел швами на широких плечах этого минутой назад сибарита, а ныне – чуть ли не барса в



человечьем обличе.

И улыбка-оскал такие же – хищные, и в глазах плещется не муть столичного, но чистая бирюза степного неба. И будто расплавленное золото плеснуло из них – улыбнулся граф своему любезному другу, подошел, нежно обнял за плечи:

– Нам с тобой, душа моя, войны не хватает! Интрига дворцовая порой не менее опасна, чем хитрость военной тактики, однако же нет в ней правды и отваги открытой схватки, когда ясно, где твой враг, а где – друг, и слишком много лжи начинают душить, запирают сердце в погреб пьянства да непотребства, где свой порок – оправдан, а чужая любовь – пуще смертного греха осуждаема. Верно ли определил я твое беспокойство, mon ami?

– Уж куда вернее..., – отчего то сиплым голосом пробормотал Перовский, и как-то смущенно отстранился от товарища. Затем вдруг обернулся, и порывисто обнял, горячо шепча: – Сослужи мне еще один раз, друг любезный, отпусти, освободи из сей клетки золотой! Верни меня в степь! Душа томится тут, невоготу!..

Теперь уже Сурков отстранился от Перовского, нежно, но уверенно снял руки того со своих плеч, посмотрел в глаза, твердым голосом заговорил:

– Ты, Василь Алексеич, сам-то ведаешь, чего просишь? После хивинского провала твоего, после всего, что пришлось сделать, чтобы вместо наказания получить повышения в чинах да назначение в столицу – обратно желаешь? Чего ты там потерял нынче? В степи сейчас другая война, Кенесары Касимов викторию за викторией празднует, в Орде Бокеевской после твоей (тут Сурков многозначительно подмигнул другу) блестящей победы – тишь, да благодать! Куда ты рвешься обратно? А может, похлопотать, да определить тебя на Кавказ? Там баталии грядут, уж поверь, и славы, и почестей будет...

– Оставь, душа моя, Кавказ, для ссыльных смутьянов да поэтов, а мне подавай дело всей моей жизни – Хиву брать хочу! Да,

знаю, с одним походом не справился, дозволил Кенесары стать сильнее, и только бунт в Орде Бокеевской сумел подавить, да и того, не будь тебя, мой друг, никогда бы не случилось. Однако вот тебе и другая правда – в степях яицких смуте еще быть! Великая удача хранила нас тогда, что не убил ты Махамбета Утемисова, не дал состояться мученичеству его, как то сделали с вожаком смутьянов, Исатаем Таймановым...

– Удача! То не удача, а хитрость его была! В степи по сей день байки сказывают, мол, сила волшебная у акына, мол, древнее божество степняков хранило его, дозволило исчезнуть из-под носа моей черкесской сотни, а на самом деле – пшик вся его волшебная сила, мошенничество! Вспорол попону, набитую пухом лебяжьим, пустил облаком назад, попутал усталых бойцов моих, и был таков, а невежи баят – снег, мол, посреде лета вызвал силою своей!.. – раздраженно отвечал Сурков, но Перовский только отмахнулся:

– Да знаю я, что ты велел там про побег Утемисова рассказывать, чтобы не возвеличивали того, и чудес ему не приписывали, однако же мое мнение на сей счет таково, что Господь хранил нас от убийства этого, я ведь знаю, каков ты в ярости бываешь! Нам и Исатая хорошо было бы живьем брать, да не судьба, вишь, достал его выстрелом подполковник Геке, карьеру свою спасая. Хорошо, хан Жангир пишет, сейчас всю вину валят на Махамбета, мол, на смуту он подбил героя-Исатая, на смерть обрек, сам бежал! Люд степной запутался, где ложь, где правда, и вскоре не будет ни святых, ни мучеников, ни героев, а черт-те-знает что, сплошь несуразица да противоречье в головах, и не было б уж того, вокруг которого можно на бунт единиться, ни живого, ни мертвого, что много опасней, если бы только не жадность степняцкая! Верь слову моему – не ты себе Махамбета чуть не в кровные, по кавказскому обучаю, враги записавший, его жизни лишишь, а какой ни будь бай из своих же, желающий верность государству явить, а на деле – только хуже сделает!

Еще раз поморщился Сурков, покачал головой, уселся обратно на

тахту. Подумал. Спросил:

– С Кенесары покончить сможем, как считаешь?

– Сможем! – горячо заговорил Перовский. – Надобно выгнать его из степи, да в горы, зажать в Семиречье, расколоть хрупкий союз с Кокандом и Хивой, а потом всех – да по отдельности, к ногтю, к Империи – прижать!..

Еще немного помолчал граф Сурков, только глядел пристально прямо на Перовского, вдруг улыбнулся, ухватил за рукав друга, потянул к себе со словами:

– Прижать, говоришь?! Значит, готовься! Вернемся в Оренбург, на генерал-губернаторство! Я все устрою! Возьмем твою Хиву! Готовься!..

+ + +

– Готовься, Махамбет, сейчас самое время выбирать – жить, или умереть? Нас здесь трое, но даже если я один решусь драться, никакая сабля не спасет жизни этому юному убийце. И что тогда? Сколько еще я буду убегать от смерти, которая не настигла меня там, где умер мой Исатай? И когда я решусь сделать то, ради чего явился в этот мир? Если я убью их здесь и сейчас – как долго люди султана будут судачить о том, что конокрад Махамбет сбежал от суда? И как быстро все забудут правду? И я принимаю решение, и впервые, с тех пор, как эти люди пришли в мой дом, начинаю говорить:

– Нет на мне вины за украденных лошадей, сын Толе, и не тянись к своей сабле, сын Нуралы, пока не скажешь правду, зачем на самом деле пришли сюда. Или тебя не учили, что у батыра, помимо силы, должна быть и честь? Или ты не знаешь, что врагу надо смотреть в лицо, и говорить правду, если пришел убивать его?

Все замолчали вдруг. Только Типан тихо всхлипнула при слове «убивать». Вдохнула, но не плачет. Говорил же – умница у

меня жена! Жаль, не ценил ее все эти годы, обижал, а сейчас и времени осталось – всего ничего...

Батыр Мурад смотрит на меня взглядом бычка молодого, горячего, глазища кровью наливаются. Ыкылас пытается что-то сказать, остановить его, да уж поздно:

– Верно говоришь, акын! Нет нам дела до адайских лошадей, и не те мы люди, чтобы за конокрадами бегать по степи. За тебя султан Баймагамбет пять сотен рублей золотом обещал. Верней, за голову твою. За ней я и пришел, сын Утемиса, за головой твоей пришел. Убивать тебя пришел...

Второй раз прозвучало это слово под шаныраком моей юрты, второй раз услышала Типан его, и не выдержала. Прямо с дастархана схватила нож, которым мясо режем, бросилась на Мурада, да только вытянул ногу брат мой Хасен, споткнулась Типан, упала, даже не успев поранить никого, а Хасен уже руки ей за спину крутит, держит, кричит:

– Угомонись, дура, не твое бабье дело, оставь мужчинам свои дела решать!..

А я смотрю на брата моего, на Хасена, на верного Хасена, который был рядом со мной все эти годы, и вижу усталость на лице его. Вижу боль, причиненную за это время: от потери всего, что нажил тяжким трудом отец, всего того, что так было дорого домовитому, хозяйственному Хасену, отдавшему последнее в жертву восстанию, которое мы проиграли... И вижу – стыд. Стыд за то, что он сейчас делает. За то, что он уже сделал, отчего люди эти смогли найти меня. Смогли войти в мой дом. Теперь я понимаю, почему он кричал, когда я целился в них из ружья, удерживая меня от выстрела. Понимаю... и прощаю его. Так и говорю ему:

– Ты прости меня, брат, что не сумел. Что проиграл. И теперь ты оказался вынужден служить победителю. Прости меня за то, что вынудил тебя стать предате...

+ + +

– Никто не хочет становиться добровольно предателем того, во что верит! – чингизид смотрел на шамана сурово, но руки его дрожали.

Только что старый чудаки заявил ему, что Ислам – путь порабощения народов, и что своим упорством он, хан всех степняков, от Семиречья и до Ак Жайыка, предаёт истинную веру своих отцов. Верно, старик и раньше чудил, опасно близко подходя к вопросам религии Пророка, мир ему, но нынче перешёл все дозволенные границы. И ладно бы, с глазу на глаз, но вот так, прямо при всех, во время военного совета, когда надо принимать ответственное решение – оставаться ли в Степи, продолжая бить русского императора в надежде вынудить его на официальное признание мира и отказ от претензий на власть над землями чингизидов, или уходить на юг, в горы, и там держать оборону, собираясь с силами на новую войну, где он один – против трёх царей, – эмира Коканда, хана Хивы, и самого большого врага – императора России!

– Уж не хочешь ли ты сказать, хан, что не веришь в Тенгри? Не веришь в аруаков? Не веришь в своих собственных предков, чья кровь в твоих жилах привела тебя к твоему величию? – шаман говорил, не унимаясь, и ещё больше усугубляя свою и без того невеселую участь.

Последнее время положение старика при хане Кенесары становилось все более сомнительным, слова его воспринимались приближенными хана, как откровенный бред вышедшего из ума служителя забытого бога, а муллы, в большом числе наводнившие ставку Касимова за последний год, все чаще требовали от хана примерно наказать язычника, смущающего умы правоверных мусульман в армии последнего чингизида. И вот, наконец, он достал самого хана. Кровь, нетерпимая к какой-либо хуле, та самая кровь, к которой взывал шаман, взыграла, вскипела яростью прирожденного тирана:

– Кровь, говоришь? А может, это я сам, своими руками, своим умом, терпением, да теми жертвами, что принес на этом пути, достиг всего этого, а? – Кенесары Касимов, именуемый последним чингизидом, встал из-за дастархана, по пути опрокинув серебряный чайник-куман, рука его потянулась к рукояти огромного кылыша старинной багдадской работы.

Но тут вмешался муфтий из Казани, год назад объявившийся в лагере Кенесары, объявивший себя жертвой гонений орысов-христиан, якобы бежавший из Казани от неминуемой казни за защиту татар-мусульман, не желающих принимать насильно православное крещение. Мустафа его звали, этого старого, но еще крепкого человека, приходившегося, по слухам, то ли отцом, то ли дядей самой жене другого чингизида, чье имя нынче в степи вспоминали не иначе, как сплевывая при этом – Жангир-Керей хана, Фатимы. Мустафа-хожа говорил вроде бы тихо, но слушались его все, и темная ярость в очах Кенесары тускнела, гасла, превращаясь в слабое, смутное раздражение своей несдержанностью – так умел говорить Мустафа-хожа:

– Великий хан над ханами поспешил, говоря сейчас, что всего добился сам. Во всех его победах видна заслуга Аллаха, укрепляющего руку правоверных в их джихаде против кафилов. Джихад – вот путь, по которому ты идешь, великий хан, чей титул еще признает вся степь...

– Для этого сначала Жангир-Керей хан должен умереть, а он еще вполне молод и здоров, перебежчик! – прервал его шаман – единственный, кажется, человек в юрте, не поддающийся чарам голоса татарского муфтия. Но не прост Мустафа-хожа, и не сбить его с намеченной цели, перебивая речи:

– Все умирают, рано или поздно, и тот, кто здоров сегодня, волею Аллаха может лишиться не только здоровья или имущества своего, но и самой жизни! Жангир-Керей – разочарование всей степи, он уже при жизни – все равно, что мертвый, и после того, как он поступил со своим народом, именно он предал свою кровь и предков, вот почему уже сейчас мы можем назвать нашего

хана Кенесары – последним чингизидом! Но не о том я сейчас говорю, а о твоих словах, язычник, в которых ты прилюдно оскорбил того, кто, несомненно, победит в этой войне, кто ведет свой джихад яростно, но мудро, и ведом на этом пути самим Всевышним, слава Ему, как велел наш Пророк, мир Ему...

– Да что вы слушаете этого... этого... он же перебежчик, еще вчера проводивший волю русского царя при дворе своего зятя, которого ныне живым хоронит! – шаман сорвался на крик, обращаясь ко всем, сидящим за дастарханом в ханской юрте... и сорвал голос. Засипел старый шаман, и вмиг стал выглядеть жалким и беспомощным, но не вызвал жалости у истинных врагов своих.

Мустафа-ходжа продолжил, и голос его звучал громко, уверенно, и перед хрипящим беспомощным шаманом выглядел он могучим и грозным, как его бог – перед забытыми ныне богами некогда Великой, Степи:

– Великий хан хотел сказать, что никто не предаст добровольно то, во что верит, а значит – нет веры твоему Тенгри у хана, нет этой веры и у народа Степи, а потому не может быть и речи о предательстве, а есть лишь разумный выбор! Раб – кул, всегда выбирает сильного хозяина, подчиняется владыке, чья мощь сильнее того, кто обладал над ним властью раньше, и это разумно, и твой народ со своим ханом во главе выбирает себе сильного владыку!..

– Но мой народ – не раб! – сквозь сип прорывается наконец голос шамана, но поздно!

Не нравится все, сказанное нынче под шаныраком его юрты, тому, кого меньше чем через год, и вправду, возведут на белую кошму, и назовут ханом над ханами, и последним чингизидом. Не нравятся ни речи Мустафа-ходжи, оскорбляющие его народ, его кровь, и саму память его предков, но тем паче не нравятся слова шамана, прямо обвинившего его в предательстве. Он сжимает, наконец, рукоять меча-кылыша, и спокойствие воина, отбросившего прочь сомнения политика, и принявшего решение

убивать, или быть убитым, охватывает хана Великой Степи:

– Схватить язычника, и немедля казнить за оскорбление хана!

Муфтии и муллы чуть ли не в один голос, лишь слегка расстроенным хором, выкрикивают приговор: забить дерзкого плетью до смерти... Казнь тысячи плетей языческому шаману, под самым солнцем, немедля...

+ + +

Главное сейчас – не медлить! Не мне – им, пока я еще сражен пониманием того, что стал жертвой предательства... и что сам стал предателем. Да, я предал всех и вся: от своей семьи, своего брата Хасена, и до своего Старшего, Исатая – ведь все они стали жертвой моих ошибок, того, что я теперь ясно понимаю – было сотворено если и не мной, но – моими руками! Советы Мустафа-хожи, вера в мудрость орысов, их заботу о нас, как о младших братьях своих, вера в... Нет, только не это! Аллах велик, и все – в руках его!

Но если так – я должен сражаться?! Аллах не позволяет самоубийства, и если я не возьму сейчас в руки меч, если я не погибну в сражении – я предаю свою веру...

А если я возьму в руки меч – я их убью. Я знаю, что смогу убить их всех – у них нет пистолетов, мечи же в их руках – будто палки, и я, ученик ходжи На Сима, величайшего воина школы у-шу мусульман Поднебесной, могу сделать с ними все, что посчитаю нужным...

Ходжа На Сим... я слышал, он погиб, сражаясь... но местонахождение Ак Медресе выдал казакам Махамбет Утемисов – такой слух идет по степи среди оставшихся в живых суфиев, поэтому меня в прошлом году даже не допустили войти в мавзолей Бекет-Ата, хотя я на коленях молил об этом. Для своих бывших товарищей по школе я стал предателем еще тогда, когда служил своему хану.

Для своего хана я стал предателем, когда присягнул в верности



делу своего старшего побратима, Исатая, и встал на сторону восставших!

А сейчас, чтобы я не сделал, я стану предателем – либо своей судьбы, либо своей веры! В этом горечь судьбы предателей – ибо этот путь бесконечен, и предавши хоть что-либо в своей жизни раз, ты навсегда будешь изменником, и будешь предавать уже все, что тебе дорого, даже помимо своей воли и своего выбора.

И если сейчас я должен предать вновь... пусть это предательство послужит хоть чьему-то спасению! Я искуплю свою вину перед тобой, брат! Ты напишешь потом в своем рапорте, что ничего не видел. Что ты совершал намаз вне юрты, когда они вошли, и убили меня. Возможно, потому, что я отказался им подчиняться, и сам поднял оружие. Главное – что ты выживешь. Чтобы суметь позаботиться о моих женах, детях... Посмотри, какая Типан хорошая! Верная, умная... Ты должен позаботиться о ней. Но потом, на суде, ты скажешь правду о том, как все это было. И твоя настоящая история начнется с признания того, кто ты есть, безо всякого стыда перед сделанным в прошлом: «Меня зовут Хасен, сын Отемиса. Я казах из племени берш, рода жайык...». А сейчас – пора вновь предать свою судьбу. Пусть кто-то другой станет божьей трапезой. А мне надо брата спасать!

И я начинаю действовать. Я двигаюсь быстро, так, как не умеют эти жирные прихлебатели сурпы с байских дастарханов. Я протягиваю руку и вытаскиваю меч из ножен Ыкыласа, так, что он даже не понимает, как его оружие оказалось в моих руках. И я говорю, громко, чтобы эти двое, Жусип и Муса, достаточно испугались и наконец сделали по-настоящему то, за чем пришли!

– Ты же знаешь! Живым я не дамся!.. Скажи еще раз, что ты пришел убивать побратима Исатая, сына Утемиса, меня – Махамбета, скажи это! Скажи это – Я ПРИШЕЛ ТЕБЯ УБИТЬ!

+ + +

– Я... я пришел, чтобы убить тебя, старик! – Кенесары говорит хрипло, а я ничего не могу ему ответить. Я? Кто я такой?

Почему старик? Я – Махамбет... я – шаман... Мои мысли путаются, мне очень больно сейчас.

Спина превратилась в кровавое месиво, и спеклось под солнцем в один страшный шрам, красное мясо и черная кожа, и белые кости лопаток проглядывают из-под гниющей плоти, но я еще жив. Меня невозможно убить, даже уничтожив всю мою плоть, для того, чтобы я погиб, в меня должны перестать верить. А раз я жив – значит, татарский муфтий лгал, а хан – ошибался. В меня еще верят. Так зачем на самом деле пришел хан? И почему мне кажется, что я – Махамбет? Что со мной происходит?

– Ты и так умираешь, старик! Я должен помочь тебе. Я совершил ошибку, вся ставка говорит о моем малодушии, о том, что чингизид отправил своего шамана на казнь, не осмелившись сам лишить его головы, как это сделал бы наш великий предок!.. Что это за звуки ты издаешь, шаман? Ты плачешь? Тебе больно? Сейчас все кончится, обещаю тебе!..

Глупец! Ничего не кончится! И не плачу я, просто так сейчас звучит мой смех, а слезы – это остатки влаги покидают тело, которое мне предстоит сменить, как степная ящерица сменяет кожу. Отрубить голову шаману? Когда мой бог был еще молод, его служители так же были подобны нынешним священникам пустынного тирана, и старались себя обезопасить, как могли. Оттуда и пошел придуманный ими же обычай – только правитель, только сам каган может казнить шамана Тенгри, если уж так сильно этого хочет, но за все есть плата. Каган должен своею рукой отрубить тому голову, но при этом он должен знать, что его собственная голова будет проклята навеки, будет отделена от тела, и никогда не найдет себе пристанища на своем месте. Уж не знаю, действовало ли проклятие, или нет – ни один каган так и не осмелился своею собственной судьбой проверить действия заклятий старых шаманов. Неужто этот «последний чингизид» и вправду решил быть первым, кто рискнет своею головой... ради чего? Ради торжества бога семитов в нашей Степи? Глупо, о Великое Небо, как же все это глупо!..

Приближенные и лизоблюды, предатели и шпионы, все они наверняка сейчас смотрят, как потомок Чингизхана, могучий Кенесары, тащит полумертвого шамана обратно на лобное место. Час назад меня секли здесь семихвостыми плетями со свинцовыми концами, секли, чтобы убить, но я не умер. Устали сечь, бросили на краю площадки для казни, надеясь, что испущу дух, но я все еще жив. И тогда забеспокоились, побежали к «хану над ханами», доложили, заставили бояться! Его, претендующего на власть над всей Степью – бояться старого, умирающего шамана полузабытого бога... бога его предков! И вот он пришел – чтобы самолично исполнить свой приговор... и обречь себя на проклятье! Или же я льщу себе? Мне так хочется, чтобы попытка убить меня не прошла даром, чтобы за боль, причиненную мне, пришла неизбежная расплата, и желательно – жестокая... очень жестокая!

Небо, какая жестокая боль в груди... откуда? Меня ведь били по спине, не по груди...

+ + +

Они не ударят меня в спину! Пусть смерть, но не такая, не позволю, не могу! И я разворачиваюсь назад, к Жусыпу, зашедшему мне за спину и уже занесшему большой кинжал. Я все еще двигаюсь быстро, но не настолько, чтобы успеть отбить этот удар, и клинок в руках врага на целых три пальца проникает мне в грудь... Больно, но не смертельно! Сердца моего ему не достать – я успеваю схватить за запястья, для этого пришлось отбросить саблю, отнятую у Ыкыласа. Я мог бы убить его – хоть саблей его командира, хоть его собственным кинжалом, но сегодня я не стану этого делать. Не они должны сегодня умереть, но тот, кто стал виновником бед для своей семьи, пытаюсь спасти свой народ. Сегодня должна свершиться моя казнь!

И я отталкиваю Жусипа, конец его кинжала выходит из моей груди, царапая кость ребра и причиняя невыносимую боль, я кричу, но вскакиваю на ноги, мои крепкие, сильные ноги, они уже не слушаются меня, они живут своей жизнью, они хотят продолжать жить, и несут мое тело прочь отсюда, в сторону

выхода из юрты, и здесь меня уже поджидает сын Нуралы, Муса. Юный бычок бьет меня своею саблей по голове, но делает это не очень умело, клинок ударяет вскользь и плашмя, оглушает, ранит меня, и колени подкашиваются, я поворачиваюсь к нему спиной, падаю...

+ + +

Я стою на коленях, и теряюсь в догадках – где я? Только что мне привиделось, что я – Махамбет, которого убивают люди султана Баймагамбета, у меня болит лоб, как будто его только что рассекли тяжелым клинком, и странное дело – я чувствую, как у меня за спиной заносится другой клинок... Разве у меня есть на спине глаза, чтобы видеть эту каплю пота, стекающую по дергающейся щеке на искаженном, будто от боли, лице «последнего чингизида»?..

+ + +

У меня нет глаз на спине, но кажется, будто я вижу, как Мурад, сын Нуралы, поднимает к небу свой клинок, чтобы опустить его на мою шею... Бьет!.. И... – снова бьет?!..

+ + +

Кто же так бьет? Кто так рубит голову врагу? Врагу, которого уважает вся Степь – разве можно так? Моя шея будто горит, превращенная в кровавое месиво, позвонки смешаны в кашу из осколков и чудом еще цепляющихся друг за друга мышц, сухожилий и нервов, а этот бездарный вояка продолжает колотить по ней клинком, будто баба, выбивающая палкой пыль из кошмы. Хан над ханами, Кенесары, сын Касима, потомок Шынгыса, будь достоин крови своего великого предка, молю тебя, закончи эту пытку!..

+ + +

Хасен смотрит, будто замороженный, как Муса пытается отрубить голову его брату. Типан кричит, бьется, будто раненный зверь, исходит страшным, нечеловеческим криком, а Хасен держит ее

крепче, пытается зажать рот, и только шепчет:

– Молчи, молчи, дура... баба, дура!

А она кусает его руку, прокусила уж до крови, но так много алой боли в этой юрте этим страшным днем, что Хасен не замечает ни боли, ни собственной крови... Но замечает странное – как вместо неловко занесшего над головой саблю юного бычка Мусы вдруг видится крупный, суровый мужчина с ликом воина, уверенно возносящий меч над головой... нет, не Махамбета, но старого шамана, у которого вместо спины – кровавая каша, подобная той, в какую превратилась шея его брата...

Клинок опускается, подобно молнии, и с тихим всхлипом распадаются ткани и сплетения сухожилий, и голова – вместилище мятежных мыслей – с громким стуком падает прямо на деревянный дастархан, от чего переворачивается миска с кумысом, и смешиваются на скатерти степного гостеприимства кровь хозяина юрты с молоком его кобылицы.

Ыкылас с брезгливым выражением на лице протягивает обе руки, поднимает голову, кладет в подставленную Жусыпом кожаную торбу. Перевязывает торбу, и, стараясь нести как можно подальше от себя, идет к выходу из юрты, по пути только кивнув в сторону Хасена:

– Этого свяжите, заберем с собой в ставку султана. Там ему заплатят, и объяснят, что и как надо рассказывать на суде у орысов.

– Агай, а можно, голову я повезу? – наглая просьба сына Нуралы заставляет Ыкыласа задержаться на миг.

– Нельзя! Голову казненного преступника Махамбета Утемисова повезу я!

+ + +

*Я иду, и несу свою голову.*

*Я несу ее в своих руках.*

*Над плечами моими проносится ветер, не касаясь моих волос.*

*Я несу в своих руках все свои мысли и заботы.*

*Все свои сомнения и надежды, и даже саму свою веру  
Я несусь в этих усталых руках.*

Хан среди ханов отрубил мою голову.  
Он велел вырыть мне могилу, и закопать в нее тело.  
Голову велел закопать в ногах.  
Но нельзя зарыть в Землю – веру в Небо.  
Как нельзя отдать Небу – веру в Землю.  
Ноги и голова – им не суждено быть вместе.  
Так создан человек.  
Между ними всегда есть – сердце.

Глаза на голове моей закрыты.  
Если я открою их – то увижу завтрашний день.  
Я увижу, как в водах Ак Жайыка утонет султан-убийца.  
Султан Баймагамбет, получивший награду пес,  
Как кость – так он был награжден своим царем.  
В далекой северной столице он получил свою кость.  
Но кости тела его обглодают рыбы моей реки.  
Если я открою глаза на своей мертвой голове,  
Я увижу, как сбудется проклятие старых шаманов.  
Голова хана среди ханов никогда не соединится с его костями.  
И как оскорбление, будет храниться трофеем у победителей моего народа.

Если я открою глаза – я увижу,  
Как мой народ забудет своих аруаков.  
Как дети его станут верить в пустынного бога,  
Превращая своими руками в пустыню нашу цветущую степь.  
Мертвые глаза не желают видеть,  
Как живые будут мертветь при жизни,  
Меняя волю степную на рабство больших городов.  
Мертвые уши не желают слышать,  
Как народ, избравший себе хана среди лучших,  
Будет хвалить худших, и вознесет их над собой.

Мертвый рот только не умолкает.  
Он пел, когда жил, он поет, будет петь всегда.

Мертвый язык не боится снова умереть.  
И поэтому мертвый акын – опасней живого.

Мертвый шаман идет по живой Степи.  
В мертвом теле, воскресшем волею неба – живет акын.  
Две головы ты одним ударом срубил, хан!  
Слава тебе в веках – за успехи и за ошибки твои.  
Так и не отдал народ мой свой Небу долг.  
Не пожелала жертва – стать жертвой, и потому казнена.

Тенгри не нужен преступник, его дастархан  
Не осквернить угощением преступным! Если оно  
Не отдано с чистым желанием, и от души,  
Значит, то не была трапеза Бога,  
Значит, то не был Кудайдын Тамагы!  
Тот, кто родился стать Жертвой, стать Трапезой Бога,  
Должен служить не себе, не страстям своим личным,  
Жизнь свою должен отдать первым, без сожаленья!  
Если не станет – то в сожаленье умрет.

Я иду, и несу свою голову.  
Я несу ее в своих руках.  
Над плечами моими, проносится ветер, не касаясь моих волос.  
Все свои сомнения и надежды, и даже саму свою веру  
Я несу в этих усталых руках.

Пусть не хочу я видеть завтрашний день.  
Пусть не хочу я видеть, как гибнет Степь.  
Пусть не хочу я слышать слова – как позор,  
И не хочу даже знать, что станется завтра,  
Это желание Неба – выше воли моей.  
В мертвом шамане живет теперь поэт.  
Мертвый я стану жертвой, которой не стал.  
Мертвым отдам я долг за себя и него.  
И говорить будет правду батыр и поэт  
Через века, хоть ты был и казнен, Махамбет!  
Я открываю глаза...

## ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ АВТОРОВ

+ + +

### ПОД НЕБОМ-ТЕНГРИ

А. Улдуз

Получается, что они все время лгали. Потому как говорить лишь часть правды – равнозначно самой огромной лжи, если та скрытая часть, и была самой важной, ключевой, определившей СМЫСЛ правды... и которую от нас взяли, и спрятали.

Не только восстание Исатая и Махамбета, с такой легкостью записанное советскими историками в разряд «народно-освободительных», но и сами личности лидеров восстания, как-то традиционно рассматривались в отрыве от важнейшего контекста того исторического периода – от религии. Результат получился ожидаемым – казахский народ до сих пор считает Махамбета (причем совершенно ошибочно) главным лицом и чуть ли не инициатором восстания, его идейным вдохновителем, уделяя Исатаю лишь роль военачальника – эдакие Ленин и Троцкий, как революционные идолы-архетипы, а само восстание рассматривает исключительно в контексте неких экономических реформ, проводимых ханом Жангир-Кереем (буржуй, капиталист и аристократ в одном лице – очень удобный отрицательный персонаж в советском идеологическом пантеоне).

О да, в учебниках и многочисленных, порой чуть ли не строчка в строчку повторяющих содержание друг друга статьях об этом восстании, конечно же упоминается, кем был Исатай, и какую роль ПРИ НЕМ играл Махамбет. Однако, в среде обывателей образы-мифы уже четко закрепились, а значит, эти упоминания даже формально не выполняют свою роль.

Но даже не это было самым важным для меня, как одного из авторов книги, когда мы брались за литературное, художественное исследование образа Махамбета, всегда казавшегося мне противоречивым, неоднозначным, а потому –



настоящим. Наша сегодняшняя жизнь, в которой набирает обороты религиозный радикализм, стала такой не без причин: истоки происходящего лежат в нашей не самой далекой истории. Для современного же казахстанского общества ответить на этот вопрос критически важно. Конфликт тенгрианства, как религии автохтонной, «своей» для этих степей, и авраамических (христианства – в меньшей степени, и ислама – в большей), и есть, на мой взгляд, тот самый фактор, что сыграл огромную роль в религиозной радикализации в нашем обществе. И не только сам конфликт, как таковой, но то, как религии использовались крупнейшими политическими игроками для покорения казахского народа.

Восстание Исатая и Махамбета не было против Империи – мы это знаем хотя бы потому, что сами лидеры восстания неоднократно обращались к имперским властям с просьбой выступить третейским судьей в их конфликте с ханом Букеевской Орды. По сути, оно было реакционным с точки зрения всей истории позапрошлого века, и довольно низкорезультативным. Более того, оно привело к ослаблению позиций последнего хана Бокеевской Орды, и как следствие, к полной потере своей государственности у племен младшего жуза. С самого своего начала оно было подконтрольно империи, фактически стравившей между собой казахов, чтобы потом уничтожить обе стороны: восставших – военной силой, легитимного правителя – посредством политических интриг, дискредитировав его в глазах собственного народа.

Инструментом же контроля была не только, и не столько армия, сколько представители религиозных институтов, муллы, подчинявшиеся единой имперской власти. Впрочем, спустя три десятка лет приволжские татары-мусульмане, чья лояльность империи была использована для фактического покорения через исламизацию народов западного Казахстана, на себе испытали, как империи относятся к подобным проявлениям лояльности – достаточно вспомнить историю насильственного крещения татар. Исламизация степи была делом государственным, и то, как протекало восстание, самым лучшим образом демонстрирует нам,

сегодняшним, выгоды от авраамических верований для скреп тоталитарных режимов.

Тенгрианство было пассионарным, но при этом – рациональным, оно не вмешивалось в работу социальных лифтов, и потому долгие столетия кочевые народы были мобильны, сильны, по-своему прогрессивны, и могли не только успешно противостоять оседлым цивилизациям, но даже всерьез конкурировали с ними. Низкая экономическая эффективность кочевого хозяйства в условиях суровой степной природы, с лихвой компенсировалась высокой демократичностью власти, что положительно сказывалось и на сокращении технологического разрыва, и на мобильности принятия решений в критические периоды, и самое главное, на том, что интеллектуальный ресурс номадов не был скован жесткими условностями классовых различий. Проще говоря, тенгрианство позволяло кочевникам быть честнее с самими собой. И именно в тот период своей истории они были действительно великими цивилизациями.

Авраамические религии были навязаны кочевникам – этот исторический факт трудно отрицать..., но легко скрыть. Особенно имея на руках административный ресурс победившей государственной машины. Что арабский халифат, что Российская Империя, что СССР (который так же выстроил свою идеологию по модели авраамической религии, просто заменив значения переменных в неизменной формуле тоталитарной власти) – все эти государственные образования по сути всего лишь пользовались номадами, как ресурсом.

Не являясь последователем ни одной из религий и будучи антиклерикалом, я всегда восторгался свободолобием кочевых цивилизаций, их прямоотой и честностью, и меня всегда поражала та двойственность, граничащая с эклектикой в психике, когда дело касалось двух вопросов: религии, и власти. Конфликт между аруаками и имамами продолжается и по сей день, несмотря на формальное многовековое поражение тенгрианства перед исламом, этот конфликт выпирает из-под оправдания коррупции (качество всех авраамических институтов, фактически легитимизирующих



Всё было так же и со  
мною:

я мысли, чувства, музу,  
бой

Отчизне честно  
подчинял,

но сам же срублен был судьбой.

В игру вступил всё тот же рок:  
пред смертью был я одинок,  
от рук предательства, коварства  
я принял смерть, но ...не итог.

Пророков, гениев,  
героев

сдают в забвение  
порою.

Но не случилось то со мной –

за мной народ стоит горою!

Ещё восстану я из  
праха!

С мольбой к могуществу Аллаха,

коль надо будет – понесу

ещё раз голову на плаху!

Восстану я, чтоб петь, вещать, рубиться,

лететь стрелой быстрее птицы

и всадником без буйной  
головой

скакать и мстить, как призрак-рыцарь...

ЖИЛ-БЫЛ Я

Жил я, был я, жил - был  
я...  
В диких зарослях  
Нарына,  
вздыбив юный свой  
загривок,  
издавал среди зверья  
львиный рык богатыря!

Был при жизни  
Исатая  
двуматёрым волком  
я,  
вожаком был волчьей  
стаи,  
славой воина гремя!

Я в полёте хищной  
птицей,  
защищая воробья,  
резал вражьи вереницы,  
рушил гнёзда воронья.

Я не трогал  
травоядных,  
не клевал аул  
червя,  
отличился же  
изрядно,  
орды хищников грома!

..Не всегда народ герою,  
подводя, дарил коня,  
он нередко хмурил

брови,  
ни за что его браня.

В час нелёгкий и  
тревожный  
всеми был, покинут  
я,  
сеял правду, сыт был  
ложью,  
вот вам – козни бытия!

Хоть парил в полёте  
честь,  
подползла ко мне  
змея,  
был ужален саблей мести  
и погиб на месте я.

В небе, словно кровью плача,  
заалела вдруг заря...  
Кто-то вскрикнул: «Это значит,  
–  
наш поэт прожил не зря!».

Не грозят теперь мне  
горе,  
мрак, беззвучье забытья,  
Кто-то, всё же, гордо  
вторит:  
«Жил я, был я, жил-был я!»

МЕЧ И РЕЧЬ ПОЭТА

Кто-то звал меня

буяном,  
окаянным и  
смутьяном,  
забиякой и  
рубакой,  
волком, лающей собакой.

Да! Кусался я,  
рубил,  
но не лаял, – волком  
выл,  
Жил отчаянно и  
лихо,  
честь чеканил, прятал  
прихоть.

Не подумав, сгоряча,  
не рубил голов  
сплеча,  
остромыслие  
речей  
я считал острой мечей!

Я не рвался к славе,  
лая,  
презирая краснобаев,  
жизнь хотел отдать во  
имя  
дела жизни Исатая.

Я рубился за  
Свободу,  
Независимость  
народа,  
не волок его в болото,  
–

вёл на вольные высоты.

...Потеряв Урал и  
Волгу,  
был я предан и оболган...

Видел лишь седой  
Карой,  
как издав последний  
вой,  
я расстался с головой...

Но не с духом и не  
делом  
я расстался...Только с  
телом.  
Ведь, пронзив пространство,  
время, унося младое  
племя

в  
космос, насквозь атмосферы,  
не взлетели, –  
полетели  
моей музы стихострелы!!!

КОНЕЦ РОМАНА.



Бекет КАРАШИН, Аждар УЛДУЗ,  
Атырау-Баку-Атырау  
2015-2017 гг. Romanlar